

Где я жил и для чего

Есть в нашей жизни пора, когда каждая местность интересует нас как возможное место для дома. Я тоже обозревал местность на дюжину миль в окружности. В своем воображении я покупал поочередно все фермы, ибо все они продавались, и цена была мне известна. Я обходил все сады, пробовал яблоки-дички, толковал с фермером о сельском хозяйстве, соглашался на его цену и вообще на любую цену и мысленно закладывал ферму ему же самому; я даже набивал цену и совершал все, что положено, кроме купчей; вместо купчей я довольствовался разговорами, ибо очень люблю поговорить, получал от них полное удовольствие, а хозяин, смею надеяться, — некоторую пользу, и затем отступался, предоставляя ему вести дело дальше. После этого друзья стали считать меня своего рода агентом по продаже недвижимости. Где бы я ни останавливался присесть, я мог остаться жить и оказывался, таким образом, в самом центре окружающего пейзажа. Дом — это прежде всего *sedes* (сиденье — лат.), жилище, и лучше, когда это жилище сельское. Я обнаружил множество мест, как нельзя более удобных для постройки дома, иным они показались бы слишком удаленными от поселка, но на мой взгляд, наоборот, поселку было до них далеко. Что ж, здесь можно жить, говорил я себе и проводил здесь час, прикидывая, как потечет время, как здесь можно перезимовать и как встретить весну. Где бы ни построились будущие жители нашей округи, они могут быть уверены, что я их опередил. Мне достаточно было нескольких часов, чтобы отвести землю под фруктовый сад, рощу или пастбище, решить, какие из дубов или сосен оставить у входных дверей и откуда каждое из них будет лучше всего видно, а затем я оставлял землю под паром, ибо богатство человека измеряется числом вещей, от которых ему легко отказаться.

Воображение мое так разыгралось, что я даже получал от иных владельцев преимущественное право отказаться от покупки, — а мне только того и надо было, — но ни разу не вступал во владение. Ближе всего я подошел к этому, когда купил ферму Холлоуэл и начал сортировать семена для посева и собирать доски для тачки, в которой намеревался их перевезти, но прежде чем мы совершили купчую, жена владельца — такая жена есть у каждого — раздумала продавать, и фермер предложил мне десять долларов неустойки. А у меня, признаться, было всего десять центов за душой, и я не взялся бы сосчитать, что же у меня было: десять центов, ферма, десять долларов или все вместе. Но я не взял у него ни десяти долларов, ни фермы — с меня было довольно; я великодушно уступил ему ферму за ту же сумму, какую сам за нее давал, а так как он был небогат, я подарил ему еще десять долларов, у меня же остались мои десять центов, да семена, да еще и доски для тачки. Так я побыл богачом безо всякого ущерба для своей бедности. А ландшафт я оставил себе и ежегодно снимаю с него урожай, с которым управляюсь и без тачки. С ландшафтом у меня обстоит так:

Беспорны мои права

На все, что измерил я взором[81]

Я часто вижу, как поэт снимает с фермы ценнейший урожай, а недогадливый фермер думает, что дал ему только пригоршню яблок-дичков. Владельцу много лет бывает неизвестно, что поэт изобразил его ферму в стихах, обнес ее невидимой изгородью рифм, выдоил ее и снял все сливки, оставив фермеру одно снятое молоко.

На ферме Холлоуэл меня пленило ее уединенное положение в двух милях от поселка, в полумиле от ближайших соседей и вдали от проезжей дороги, от которой ее отделяло широкое поле; близость реки, которая, по словам фермера, своими туманами защищала участок от весенних заморозков, хотя до этого мне не было дела; обветшалые и посеревшие от времени дом и сарай и развалившиеся изгороди, потому что они отделяли меня во времени от последнего обитателя; дуплистые и обомшелые яблони, подгрызенные кроликами, — сразу было видно, кто будет моими соседями; но больше всего — воспоминания, сохранившиеся у меня от прежних поездок вверх по реке, когда ферма пряталась в густой роще красных кленов, из которой доносился собачий лай. Я спешил купить ее, прежде чем хозяин успеет убрать камни, срубить дуплистые яблони и выкорчевать молодые березки, выросшие на лугу, — словом, ввести еще какие-либо улучшения. Чтобы наслаждаться всем этим, я готов был купить ее, взять бремя на свои плечи, как Атлас, — не знаю, какая ему была за это награда, — и притом без малейшей надобности, кроме надобности уплатить за нее и этим превратить ее в свою собственность, ибо я знал, что если бы я мог позволить себе роскошь не хозяйничать на ней, она принесла бы мне обильный урожай всего, чего я желал. Но, как я уже говорил, дело обернулось иначе.

Итак, для крупного хозяйства (садик у меня был всегда) у меня были тогда готовы одни только семена. Многие считают, что семена от времени улучшаются. Не сомневаюсь, что время отделяет хорошие от плохих, и, когда я, наконец, их посею, меня будет ждать меньшее разочарование. Но своих ближних я хочу предостеречь раз и навсегда: живите как можно дольше свободными и не связывайте себя ничем. Осесть на ферме или сесть в тюрьму — разница тут невелика.

Старик Катон[82] в своей *De Re Rustica*, которая служит мне руководством, своего рода «Культиватором», [83] говорит (в единственном известном мне переводе это место получается бессмысленным): «Если вздумаешь покупать землю, не поддавайся жадности и не поленись осмотреть ее как следует, не думай, что достаточно один раз обойти ее. Если участок хорош, чем чаще ты будешь его осматривать, тем больше он будет тебе нравиться». Вот я и не хочу поддаваться жадности; я всю жизнь буду обходить свой участок, пока меня на нем не похоронят, а тогда уж он мне наверное понравится.

Следующим моим опытом в этой области был теперешний, и его я хочу описать подробнее; ради удобства, я объединю опыт двух лет в одно целое. Как я уже говорил, я не намерен сочинять Оду к Унынию, [84] напротив, я буду горланить как утренний петух на насесте, хотя бы для того, чтобы разбудить соседей.

Когда я поселился в лесу, т. е. стал проводить там не только дни, но и ночи — а это случайно совпало с днем Независимости, [85] 4 июля 1845 г., — мой дом еще не был оборудован на зиму, он только защищал меня от дождя, но не был оштукатурен и не имел печи, а стены были из грубых старых досок с большими щелями, так что по ночам там

бывало прохладно. Прямые тесаные белые стойки и свежеструганные дверь и оконные рамы придавали ему опрятный и свежий вид, особенно по утрам, когда дерево пропитывалось росой, и мне казалось, что в полдень оно должно источать сладкий сок. Для меня он на весь день сохранял этот свой утренний облик, напоминая один домик в горах, где я побывал за год до того. То была легкая неоштукатуренная хижина, достойная приютить странствующего бога или богиню в величаво ниспадающем одеянии. И над моей хижинкой веял тот же ветер, который овеивает вершины гор, ветер, доносивший до меня лишь обрывки земной музыки, ее небесную часть. Утренний ветер веет всегда, и песнь мироздания звучит неумолчно, но мало кому дано ее слышать. На всех земных вершинах можно найти Олимп.

Единственным домом, которым я до этого владел, не считая лодки, была палатка, иногда служившая мне во время летних походов; сейчас она хранится свернутой у меня на чердаке, а лодка побывала во многих руках и уплыла по течению времен. Теперь, имея над головой более прочный кров, я мог считать, что несколько упрочил свое положение в мире. Легкая постройка как бы кристаллизовалась вокруг меня и влияла на своего строителя. Она оставляла простор фантазии, как контурный рисунок. Чтобы дышать свежим воздухом, мне не надо было выходить, у меня и в доме было достаточно свежо. Даже в самую дождливую погоду я не был заперт в четырех стенах, а скорее сидел под навесом. В Хариванше[86] сказано: «Дом без птиц — все равно, что мясо без приправ». Мой дом был не таков: я сразу оказался в соседстве с птицами, но мне не пришлось сажать их в клетку, — я сам построил себе клетку рядом с ними. Я приблизился не только к тем, кто обычно прилетает в сады и огороды, но и к более диким — к лучшим лесным певцам, которые почти никогда не улаживают слух жителей поселка — к дрозду,[87] красной танагре, зяблику, козодю и многим другим.

Я жил на берегу маленького озера, примерно в полутора милях к югу от поселка Конкорд и несколько выше его, в обширном лесу, который тянется от поселка до Линкольна, в двух милях к югу от единственного в наших краях знаменитого поля битвы — битвы при Конкорде[88]. Но местность там такая низкая, что горизонт мой замыкался противоположным берегом озера, тоже лесистым, всего в полумиле от меня. В первые дни мне казалось, что пруд лежит на высоком горном склоне и что дно его расположено гораздо выше поверхности других водоемов; когда всходило солнце, он на моих глазах сбрасывал ночное облачение, сотканное из тумана, показывая то тут, то там нежную рябь или гладкую поверхность, отражавшую свет, а туманы тихо уползали в лес, точно призраки, расходившиеся с ночного сборища. Даже роса оставалась на деревьях позже обычного, как это бывает на склонах гор.

Маленькое озеро было особенно приятным соседством в перерывах между теплыми августовскими ливнями, когда вода и воздух совершенно недвижны, но небо задернуто облаками, и день благостно тих точно вечер, а пение дрозда слышно с одного берега до другого. Такое озеро бывает всего спокойнее именно в эту пору; нависший над ним кусок неба неглубок и затемнен тучами, так что вода, полная света и отражений, становится как бы нижним, главным небом. С ближайшего холма, где незадолго перед тем был вырублен лес, открывался чудесный вид через пруд на юг, — там холмистые берега образовали широкую выемку, и казалось, что между их склонов, сбегавших навстречу друг другу, течет

по лесистой долине река, хотя реки не было. Глядя в ту сторону, поверх ближних зеленых холмов и между ними, я видел дальние холмы, более высокие, подернутые синевой. А встав на цыпочки, я мог видеть вершины еще более синих и дальних гор на северо-западе — синие медали небесной чеканки; видна была и часть деревни. Но в других направлениях я даже с этой высокой точки не видел ничего дальше окружавших меня лесов. Хорошо иметь по соседству воду — она придает земле плавучесть и легкость. Самый малый колодец имеет ту ценность, что, глядя в него, вы убеждаетесь, что земля — не материк, а остров. Это такая же важная его функция, как охлаждение масла. Когда я смотрел со своего холма через пруд на луга Сэдбери, которые в половодье, благодаря какому-то обману зрения, виделись мне приподнятыми над долиной — как монета, погруженная в миску с водой, кажется лежащей на поверхности — все земли за прудом представлялись тонкой корочкой, всплывшей на водной глади — даже на этой малой полоске воды, — и напоминали мне, что мое жилище было всего лишь *сушей*.

Хотя с моего порога открывался еще менее широкий вид, я ничуть не чувствовал себя замкнутым в тесном пространстве. Моему воображению открывался большой простор. Противоположный берег пруда переходил в низкое плато, поросшее дубняком, а оно тянулось до самых прерий Запада и даже до татарских степей, которые свободно могли бы вместить все кочевые племена земли. «Лишь те счастливы в мире, кому открыт широкий простор», — сказал Дамодара,[89] когда его стадам понадобились новые, более обширные пастбища.

Изменилось и место и время, и я приблизился к тем краям земли и к тем эпохам истории, которые влекли меня более всего. Я обитал в краях столь же отдаленных, как те, что созерцают по ночам астрономы. Мы любим воображать блаженные места в каком-нибудь дальнем небесном уголке вселенной, где-то за созвездием Кассиопеи, вдали от шума и суеты. Оказалось, что мое жилье находилось именно в таком укромном, нетронutom уголке космоса. Если стоит селиться в подобных местах — вблизи Плеяд или Гиад, Альдебарана или Альтаира, — то мне это вполне удалось; я настолько же удалился от прежней моей жизни и стал для своего ближайшего соседа столь же крохотной звездочкой, видимой ему только в безлунные ночи. Таков был уголок вселенной, где я обосновался на правах скваттера:

*В горах жил некогда пастух,
Он духом рвался ввысь,
Не ниже горных склонов, где
Стада его паслись[90]*

Что же думать о пастухе, у которого стада забираются выше его помыслов?

Каждое утро радостно призывало меня к жизни простой и невинной, как сама природа. Я молился Авроре так же истово, как древние греки. Я рано вставал и купался в пруду; это было ритуалом и одним из лучших моих занятий. Говорят, что на ванне царя Чин-Тана[91] была высечена надпись: «Обновляйся ежедневно и полностью, и снова, и всегда». Мне это понятно. Утро возвращает нас в героические эпохи. Слабое жужжание москита, который незримо пролетал по комнате на заре, когда я распахивал окна и дверь, волновало меня не менее любой трубы, когда-либо певшей о славе[92]. То был реквием Гомеру; целая Илиада и

Одиссея в воздухе, которая сама воспевала и гнев свой и странствия. Тут было нечто космическое — постоянное напоминание вплоть до отмены[93] о неисчерпаемой мощи и плодоносной силе мира. Утро — самая важная часть дня, это — час пробуждения. В этот час мы менее всего склонны к дремоте. В этот час, пускай ненадолго, в нас просыпается та часть нашего существа, которая дремлет во всякое иное время. Немногого следует ждать от того дня, — если можно назвать его днем, — когда нас пробуждает от сна не наш добрый дух, а расталкивает слуга; когда мы просыпаемся не от прилива новых сил, не по внутреннему побуждению, не под звуки небесной музыки и веяние дивных ароматов, а по фабричному гудку; когда мы не пробуждаемся к иной, лучшей жизни, чем та, что окружала нас накануне, чтобы и ночной мрак приносил плоды и был благодатен не менее, чем свет дня. Кто не верит, что каждый новый день несет ему неведомый и священный, еще не оскверненный утренний час, тот отчаялся в жизни, и путь его ведет вниз и во тьму. Во время сна жизнь тела частично замирает, а душа человека, вернее, ее органы, набираются новых сил, и его добрый гений вновь пытается облагородить его жизнь. Мне кажется, что все великое свершается на утренней заре, в чистом утреннем воздухе. В Ведах[94] сказано: «На утренней заре пробуждается всякий разум». С этого часа берут начало поэзия, искусство и все самые благородные и памятные дела людей. Все поэты и герои — сыновья Авроры, подобно Мемнону,[95] и поют свою песнь на восходе солнца. Для того, чья могучая мысль поспевает за солнцем, весь день — утро. Неважно, что показывают часы и что говорят и делают люди. Когда я бодрствую и во мне брезжит свет — тогда и утро. Нравственное совершенствование — это попытка стряхнуть сон. Отчего людям так трудно дать отчет в делах своих и днях, как не потому, что они дремлют? Не так уже они слабы в счете. Если бы их не одолевала дремота, они успевали бы что-нибудь свершить. Для физического труда бодрствуют миллионы; но лишь один человек на миллион бодрствует для плодотворного умственного усилия и лишь один на сто миллионов — для божественной жизни, или поэзии. Бодрствовать — значит жить. Я еще не встречал человека, который вполне проснулся бы. А если бы встретил, как бы я взглянул ему в глаза?

Надо научиться просыпаться и бодрствовать; для этого нужны не искусственные средства, а постоянное ожидание рассвета, которое не должно покидать нас в самом глубоком сне. Больше всего надежд в меня вселяет несомненная способность человека возвыситься благодаря сознательному усилию. Хорошо, когда он способен написать картину или изваять статую, т. е. создать несколько прекрасных вещей, но куда благороднее задача быть, в моральном отношении, ваятелем и художником всей окружающей нас среды. Сделать прекраснее наш день — вот высшее из искусств! Долг каждого человека — сделать свою жизнь во всем, вплоть до мелочей, достойной тех стремлений, какие пробуждаются в нем в лучшие ее часы. Если нам не хватит тех скудных сведений, какие мы имеем, оракулы ясно скажут нам, как это сделать.

Я ушел в лес потому, что хотел жить разумно, иметь дело лишь с важнейшими фактами жизни и попробовать чему-то от нее научиться, чтобы не оказалось перед смертью, что я вовсе не жил. Я не хотел жить подделками вместо жизни — она слишком драгоценна для этого; не хотел я и самоотречения, если в нем не будет крайней необходимости. Я хотел погрузиться в самую суть жизни и добраться до ее сердцевины, хотел жить со спартанской простотой, изгнав из жизни все, что не является настоящей жизнью, сделать в ней широкий прокос, чисто снять с нее стружку, загнать жизнь в угол и свести ее к простейшим ее

формам, и если она окажется ничтожной, — ну что ж, тогда постичь все ее ничтожество и возвестить о том миру; а если она окажется исполненной высокого смысла, то познать это на собственном опыте и правдиво рассказать об этом в следующем моем сочинении. Ибо большинство людей, как мне кажется, странным образом колеблются в своем мнении о жизни, не зная, считать ли ее даром дьявола или бога, и несколько *поспешно заключают*, что главная наша цель на земле состоит в том, чтобы «славить бога и радоваться ему вечно»[96]

А между тем мы живем жалкой, муравьиной жизнью, хотя миф и утверждает, будто мы давно уж превращены в людей,[97] подобно пигмеям, мы сражаемся с цаплями,[98] совершаем ошибку за ошибкой, кладем заплату на заплату и даже высшую добродетель проявляем по поводу необязательных и легко устранимых несчастий. Мы растрачиваем нашу жизнь на мелочи. Честному человеку едва ли есть надобность считать далее чем на своих десяти пальцах, в крайнем случае можно прибавить еще пальцы на ногах, а дальше нечего и считать. Простота, простота, простота! Сведите свои дела к двум-трем, а не сотням и тысячам; вместо миллиона считайте до полдюжины и умещайте все счета на ладони. В бурном плавании цивилизованной жизни столько туч, штормов, пливунов и бесчисленных препятствий, что человек, который хочет достичь гавани, а не затонуть, должен идти вслепую, полагаясь на одни вычисления и хорошую надо иметь голову на цифры, чтобы с этим справиться. Упрощайте же, упрощайте. Вместо трех раз в день, если нужно, питайтесь только один раз, вместо ста различных блюд довольствуйтесь пятью и соответственно сократите все остальное. Наша жизнь подобна Германской Конфедерации, состоящей из мелких княжеств с постоянно меняющимися границами,[99] так что сами немцы не укажут вам, где эти границы проходят в каждый данный момент. При всех так называемых внутренних усовершенствованиях, которые, между прочим, все внешние и поверхностные, жизнь всей страны, как и каждого из миллионов составляющих ее семейств, так же нескладно и громоздко устроена, заставлена мебелью, завалена всяким хламом, разорена роскошью и необдуманными расходами, отсутствием строгого расчета и достойной цели; единственный выход для людей и для страны заключается в строжайшей экономии, в более чем спартанской простоте жизни и стремлении к высокой цели. Мы слишком торопимся жить. Люди убеждены, что *Нация* непременно должна вести торговлю, вывозить лед, сноситься по телеграфу и передвигаться со скоростью тридцати миль в час, не задумываясь, всем ли это доступно; а надо ли людям жить подлинно человеческой, а не обезьяньей жизнью — это еще не решено. Если мы перестанем выделывать шпалы и прокатывать рельсы, посвящая этой работе дни и ночи, и займемся вместо этого собственной нашей *жизнью* и попытаемся ее улучшить, кто же будет тогда строить железные дороги? А если железные дороги не будут построены, как сумеем мы в срок попасть на небо?[100] Но если мы будем сидеть дома, занимаясь своим делом, кому понадобятся тогда железные дороги? Не мы едем по железной дороге, а она — по нашим телам. Думали ли вы когда-нибудь о том, что за шпалы уложены на железнодорожных путях? Каждая шпала — это человек, ирландец или янки[101]. Рельсы проложили по людским телам, засыпали их песком и пустили по ним вагоны. Шпалы лежат смиренно, очень смиренно. Через каждые несколько лет укладывают новую партию и снова едут по ним; так что пока одни имеют удовольствие переезжать по железной дороге, других, менее счастливых, она переезжает сама. А когда под поезд вдруг попадает человек — сверхкомплектная шпала, не так положенная, — вагоны срочно останавливают, и

подымается шум, словно это — редкое исключение. Я с удовольствием узнал, что на каждые пять миль пути требуется целая бригада людей, чтобы присматривать за шпалами — ведь это значит, что они когда-нибудь могут подняться.

К чему жить в такой спешке и так бессмысленно растрчивать жизнь? Мы решили умереть с голоду, не успев проголодаться. «Один стежок вовремя стоит девяти», [102] говорят люди, и вот они спешат сделать тысячу стежков сегодня, чтобы завтра не пришлось делать девяти. Но подлинно важной *работы* мы не совершаем. Мы просто одержимы пляской св. Витта и не можем находиться в покое: стоит дернуть несколько раз за веревку колокола, как будто при пожаре, и нет человека в предместьях Конкорда — при всей занятости, на которую они ссылаются по многу раз в день — нет мальчишки или женщины, который не бросил бы все и не прибежал на этот звон, и не только с тем, чтобы спасти из огня имущество, а скорее наоборот, если уж говорить правду: чтобы поглядеть, как оно горит, раз уж загорелось и не мы его подожгли, — да будет это всем известно — или чтобы поглядеть, как тушат, и самим принять в этом участие, если это такое же занятное зрелище, хотя бы горела приходская церковь. Стоит человеку вздремнуть после обеда, как он уже подымает голову и спрашивает: «Что нового?» точно человечество в это время стояло на часах. Иные велят будить себя через каждые полчаса, очевидно с той же целью, а за это рассказывают, что им приснилось. По утрам новости так же необходимы им, как завтрак. «Скажите мне, что нового случилось с кем-нибудь, где-нибудь на нашей планете?» — и вот за утренним кофе с булочкой человек читает, что кому-то на реке Вахито сегодня выбили глаза, и не думает при этом, что сам живет в глубокой и темной мамонтовой пещере нашего мира и сам еще не прозрел. [103]

Что касается меня, то я легко мог бы обойтись без почты. Я считаю, что через нее посылается крайне мало важных вестей. Строго говоря, я за всю жизнь получил лишь одно-два письма (это я написал несколько лет назад), которые стоили затраченного на марку пенни. Городская почта — это учреждение, где мы всерьез предлагаем человеку «пенни за его мысли», как часто делаем в шуточной поговорке. А в газетах я никогда не нахожу важных сообщений. Если мы однажды прочли о грабеже, убийстве или несчастном случае, о пожаре, кораблекрушении, или взрыве парового котла, о корове, попавшей под поезд Западной дороги, о застреленной бешеной собаке или о появлении саранчи среди зимы, — к чему читать о других таких же событиях? Довольно и одного. Если вы ознакомились с принципом, к чему вам миллионы частных случаев? Для философа все так называемые *новости* — не что иное, как сплетни, а те, кто их издает и читает — старые кумушки за чашкой чая. А между тем многие ждут этих сплетен с жадностью. Я слышал, что недавно при получении свежих газет с иностранными новостями создалась такая давка, что в редакции было выдавлено несколько больших стекол, — а ведь, право, сообразительный человек мог бы заготовить такие новости за двенадцать месяцев или даже двенадцать лет вперед и не ошибиться. Для Испании, например, достаточно время от времени вставлять в нужной пропорции Дон Карлоса и инфанту, Дон Педро, Севилью и Гренаду — возможно, что имена немного изменились с тех пор как я в последний раз читал газету, — а за неимением другого подпустить что-нибудь о бое быков, и все будет совершенно точно, и у вас получится картина испанских порядков — или беспорядков — ничуть не менее ясная и сжатая, чем в газетном отчете под этим заголовком. Что касается Англии, то последней важной новостью оттуда была революция 1649 г., и если вы знаете, каковы там средние

годовые урожаи, вам больше нечего и знать, разве только вас занимают одни финансовые расчеты. Насколько может судить человек, редко заглядывающий в газеты, за рубежом никогда не бывает ничего нового — даже новой Французской революции.

Что нового! Насколько важнее было бы узнать что-нибудь такое, что вечно остается новым! «Кью-Хи-Ю, важный чиновник провинции Вэй, послал человека к Кунг-Цзе за новостями. Кунг-Цзе велел посадить посланца рядом с собой и спросил так: Что делает твой господин? Посланец почтительно отвечал: Мой господин стремится уменьшить число своих прегрешений, но никак не доберется до их конца. По уходе посланца философ заметил: Что за достойный посланец! Что за достойный посланец!»[104]. Вместо того, чтобы терзать кое-как составленной проповедью уши сонных фермеров в день отдыха от недельных трудов — потому что воскресенье должным образом завершает дурно прожитую неделю, а могло бы радостно и бодро возвещать новую — проповеднику следовало бы громовым голосом возглашать: «Малый ход! Стоп! Одумайтесь!» К чему эта видимость спешки, когда в действительности вы не двигаетесь с места?[105]

Иллюзии и заблуждения почитаются за бесспорную истину, а истина объявляется вымыслом. Если бы люди твердо держались одной реальности и не поддавались обману, жизнь, по сравнению с нынешней, могла бы стать Сказкой Тысяча и одной ночи. Если бы мы чтили одно «ишь неизбежное и правомерное, на наших улицах звучала бы музыка и поэзия. Когда мы не спешим и способны размышлять, мы замечаем, что подлинной и абсолютной реальностью обладает одно лишь великое и достойное, а мелкие страхи и мелкие удовольствия — всего лишь тени реальности. Сознание этого всегда радует и возвышает душу. Закрывая глаза, погружаясь в дремоту и поддаваясь обманам, люди повсюду создают себе повседневную привычную жизнь — рутину, основанную на чистых иллюзиях. Дети, играющие в жизнь, различают ее истинные законы и отношения яснее, чем взрослые,[106] которые не умеют достойно прожить ее, но воображают себя умудренными своим опытом, то есть неудачами. В одной индусской книге я прочел про „царского сына, который еще в детстве был изгнан из родного города, воспитан лесником и, выросши, считал себя сыном варварского племени, среди которого он жил. Один из приближенных его отца, разыскав его, открыл ему тайну его рождения, и тогда заблуждение его рассеялось и он узнал, что он — царевич“. „Так и душа, — продолжает индусский философ, — из-за окружающих ее обстоятельств заблуждается насчет себя, пока какой-нибудь святой учитель не откроет ей истину и она не познает, что она есть *Брама*“. Я вижу, что мы, жители Новой Англии, живем столь жалкой жизнью потому, что взор наш не проникает глубже поверхности вещей. *Кажущееся* мы считаем за *существующее*. Если бы человек мог пройти по нашему городу, видя лишь подлинную суть вещей, как вы думаете, куда делась бы Мельничная плотина[107]. Если бы он рассказал нам правду о том, что увидел, мы не узнали бы своего города в его описании. Стоит взглянуть непредубежденным взглядом на молитвенный дом, или суд, или тюрьму, или лавку, или жилище и сказать, чем каждое является на деле, и ваше определение тотчас превратит их в ничто. Люди считают, что истина отдалена от них пространством и временем, что она где-то за дальними звездами, до Адама и после последнего человека на земле. Да, вечность заключает в себе высокую истину. Но время, место и случай, все это — сейчас и здесь. Само божество выражает себя в настоящем мгновении, и во всей бесконечности времен не может быть божественнее. Мы способны постичь божественное и высокое только если постоянно проникаемся окружающей нас

реальностью. Вселенная всегда послушно соответствует нашим замыслам. Движемся ли мы быстро или медленно, путь для нас проложен. Посвятим же себя замыслам. Не было еще прекрасного и высокого замысла поэта или художника, чтобы его не осуществил кто-нибудь из потомков.

Проведем хоть один день так же неторопливо, как Природа, не сбиваясь с пути из-за каждой скорлупки или комариного крылышка, попавшего на рельсы. Встанем рано и будем поститься или вкусим пищи, но только с кротостью и без смятения; пусть приходят к нам люди и уходят, пусть звонит колокол и плачут дети, — мы проведем этот день по-своему. Зачем покоряться и плыть по течению? Главное — не опрокинуться на опасном пороге и водовороте, именуемом обедом, который подстерегает нас на полуденном мелководье. Когда он остается позади, мы — в безопасности, потому что остаток пути идет уже под гору. Плывите мимо опасного места, собрав все силы, весь запас утренней бодрости; отвернитесь и велите привязать себя к мачте как Одиссей. Если засвистит паровоз — пусть себе свистит, пока не охрипнет от усердия. Если зазвонит колокол, зачем спешить на его зов? Прислушаемся сперва, что это за музыка. Крепко возьмемся за работу и покрепче утвердимся на ногах. Под грязным слоем мнений, предрассудков и традиций, заблуждений и иллюзий, под всеми наносами, покрывающими землю в Париже и Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне и Конкорде, под церковью и государством, под поэзией, философией и религией постараемся нащупать твердый, местами каменистый грунт, который мы можем назвать *реальностью* и сказать: вот это *есть* и сомнений тут быть не может. Обретя эту *point d'appui* (точку опоры — франц.), недоступную приливам, морозу и огню, можешь заложить стену, или основать государство, или хотя бы надежно врыть фонарный столб, а может быть сделать промер — только не ниломером, а лучше реаломером,[108] чтобы показать грядущим поколениям, как высок бывал по временам прилив всяческих заблуждений. Встань лицом к факту и ты увидишь, что солнце играет на обеих его гранях, точно на лезвие острого меча, ты почувствуешь, как он пройдет через твое сердце и рассекает костный мозг, и ты счастливо завершишь свое земное существование. Будь то жизнь или смерть — мы жаждем истины. Если мы умираем, пусть нам будет слышен наш предсмертный хрип, пусть мы ощутим смертный холод; если живем, давайте займемся делом.

Время — всего лишь река, куда я забрасываю свою удочку. Я пью из нее, но в это время вижу ее песчаное дно и убеждаюсь, как она мелка. Этот мелкий поток бежит мимо, а вечность остается. Я хотел бы пить из глубинных источников, я хотел бы закинуть удочку в небо, где дно устлано камешками звезд. А я не умею даже считать до одного. Я не знаю и первой буквы азбуки. Я всегда сожалею, что не так мудр, как в день своего появления на свет. Ум человеческий — острый тесак, он находит путь к сокровенной сути вещей. Я не хочу работать руками больше, чем этого требует необходимость. В моей голове есть и руки и ноги. Я чувствую, что в ней сосредоточены все мои способности. Инстинкт говорит мне, что это орган, предназначенный рыть в глубину, как рыльце и передние лапы некоторых животных; я хотел бы врыться им в эти холмы. Мне кажется, что где-то здесь залегает богатейшая жила; я сужу об этом по волшебному ореховому прутику[109] и встающему туману; здесь-то я и начну копать.